

— Леня, не могу скрыть от вас, что внутренне была разорена и опустошена... И вдруг мысль о том, что у меня есть замечательные друзья и среди них вы, все перевернула. Вот вы, один из самых умных людей России, знаток человеческих душ, я прошу вас объяснить, что это такое, что за химия, что за чудо — тайна человеческих отношений!

— После такого представления, конечно, ничего умного не скажешь... Человеческие отношения — материя такая сложная, ими занимается мировая литература на протяжении тысячелетий, и то не слишком преуспела, настолько они непредсказуемы, настолько они зависят от нашего, скажем так, несовершенства.

— Но ведь действительно потрясающая вещь: какая-то полнота существования, свет — и вдруг все переворачивается, и мы несчастны, мы в отчаянии, мы готовы на какие-то дикие поступки... И это совершенно тончайшая материя, а на самом деле жизнь груба, люди замечают какие-то грубые вещи. Что это такое — наша внутренняя жизнь? Вы этим занимаетесь всю жизнь и, наверное, пришли к каким-то серьезным открытиям?

— Нет, слово “открытие” здесь не подходит. Некоторые наблюдения, конечно, есть. Я думаю, что отношения подвержены такой же коррозии, как металл. Поэтому так драматично расходятся друзья, без всяких видимых причин. Они даже сами не могут понять, почему не тянет больше быть вместе. Очевидно, наступает какая-то усталость друг от друга. От близости, от тех зигзагов, которые неизбежны.

— Но, допустим, люди разошлись идейно, идеологически, особенно в наше время, когда все вдруг обнаружили, что думают по-разному. А раньше какой-то пресс, он вне, он над нами, поэтому все, кто против этого прессы, могли собираться на кухне или в столовой, необязательно на кухне, и любить друг друга, быть близкими только потому, что существовало государство, чиновники, власть или просто какая-то мерзость, против которой объединялись, а теперь такое разъединение...

— Это, как мне кажется, общий эффект истерпанности внутренней эмиграции. Невозможность высказаться, отсутствие свободного волеизъявления бросали людей друг к другу. Все чувствовали себя единомышленниками, которые не могут свою мысль открыть, распахнуть, корреспондировать людям, и они корреспондировали ее друг другу. А когда пафос сопотвращения уходит, человек остается наедине с собой — и вот тут происходят невероятные изменения. Вспомните хорошо вам знакомого Александра Зиновьева, который здесь исповедовал одно, всячески разрушая этот мир, а потом, оказавшись за рубежом, получив полную свободу в волеизъявлении, вдруг обнаружил, что никому не нужен, и заволпил, как хорошо было здесь. И сразу все было забыто: и преследования, и лагеря, и Катинь. Он, который известен и который гордился, что большой логик, вопреки всякой логике стонет по тем временам, когда КГБ дало ему ордер на квартиру! Он говорит: как прекрасно, я пришел с Лубянки домой, а дома уже лежит ордер на квартиру. Люди очень часто не выдерживают свободы мысли. Свободу слова, в общем, выдержать легко. Как видите, литература наша ее освоила, и она уже вся целиком матерится... А свобода мысли — это очень серьезное дело. Мысль наша до сих пор в шорах. И статья свободомыслящим человеком непостижимо.

— Случай с Зиновьевым очень хорошо показывает, что чувства заведуют мыслями: потому что эта гениальная логика пасует перед чувством.

— Это давно замечено. Юный мудрец Лермонтов говорил, что идеи суть страсти при первом своем развитии. А старый мудрец Вахтангов говорил, что все мысли зарождаются в сердце. И правы мы тогда, когда умеем хорошо и правильно чувствовать.

— Вы, когда люди политизировались очень сильно, вы вдруг — как бы вдруг — сказали в своей драматургии нечто совершенно противоположное: что никакие партии, никакие политические движения ничего не стоят по сравнению с любовью.

— Это давняя тема, как вы помните. “Палуба” об этом, она написана 30 лет назад, “Варшавская мелодия” тоже об этом, “Транзит”, “Царская охота” и главная пьеса “Пропавший сюжет”...

— Но что интересно: вы всю жизнь провозглашали примат любви над любой идеологической борьбой, а этот режим преследовал вас за ваши идеи. Какой парадокс!

— Потому что я не имел права провозглашать любовь к женщинам, я должен был провозглашать любовь к партии, любовь к этому режиму. А отходя от этого, я уже как бы бросал вызов, не желая того, но так получалось. Режиму не важно было, что я к нему лоялен, ему нужно было, чтоб я его любил. Он требовал любви обязательно. И чувствуя, что я всеми силами хочу отойти в сторону от него, он меня по этому поводу не одобрял. Мой случай не самый суровый, поскольку я сидел за своим столом... Конечно, немножко южный темперамент мешал. Установка жизненная была верная — не участвовать в этой игре, тем более что в ней нет конструктивного начала. Позитивную программу, я думаю, человечество так и не выработало.



Фото Евгения УСПЕНСКОГО.

Ком. правда, — 1995, — 50 лет — с. 3
Леонид ЗОРИН:

Мысль наша до сих пор в шорах

Известный драматург, автор “Варшавской мелодии” и “Царской охоты”, считает, что мы выжили в трудную эпоху только потому, что держались вместе. Но обретенная свобода растащила даже единомышленников по разным углам.

Скажем, мы смотрим на деятельность духовной оппозиции век назад — если бы ей можно было показать наследников, она была бы чрезвычайно разочарована. Поэтому бессмысленность политического совершенства, она совершенно очевидна: исходные наши пороки сильнее наших политических усовершенствований.

— А человеческое совершенствование возможно?

— Вопрос этот решается глубоко индивидуально, и давать какие-либо рецепты невозможно. Каждый решает это в силу своего темперамента, своей ожесточенности или, наоборот, умиротворенности. Но если будет позволено говорить о вашем собеседнике, то мне нужно было как можно меньше общаться с реальностью, я всегда себя чувствовал глубоко несчастным, когда мне надо было выходить из дома.

— Стало быть, политическое совершенствование, совершенствование социальных режимов, в которые, как я понимаю, вы не верите...

— Ну какие-то политические нормы естественны. Я человек — как всякий нормальный человек — либеральных убеждений. Я, например, считаю, что человек имеет право на то, чтобы изъяснять свою мысль. Было бы дико, если бы пишущий считал иначе. В моей жизни было, когда все кладезь в ящик, или, наоборот, уродуешь, или отесываешь. В свое время один писатель говорил: я не пишу, я ишу проходное слово, и когда я его, наконец, нахожу, мне уже не хочется писать. Вот так мы и жили.

— А наиболее драматическая история, связанная с какой-то пьесой, что вы больше всего пережили?

— Этих историй много. Больше всего, что я очень сократил жизнь многим замечательным людям. Лобанов из-за меня лишился театра и умер вскоре. Он возглавлял Театр Ермоловой и ставил мою пьесу “Гости”. Прошел только один спектакль и был закрыт. Театр он потерял, а без театра что ему было жить! Как у Толстого сказано про Кутузова: ему нечего было делать, и он умер. Вот и он умер. Товстоногову “Диона” тоже разрешили один спектакль сыграть и тут же закрыли. Он написал через 18 лет: прошло 18 лет, а рана не заживает. Да она и не могла зажить, потому что это было режиссерское чудо. Завадский три с половиной года пробивал “Царскую охоту” и не дожидаясь премьеры...

— Подумайте, это та “Охота”,

что идет уже 18 лет! Сейчас для кого-то это звучит просто дико. Мы очень быстро все забываем. Что вам самому помогало преодолеть все это?

— Ну, мое графоманство, очевидно. Когда я вижу белый лист бумаги, я его воспринимаю как личное оскорбление, мне хочется немедленно его осквернить. Поэтому у меня положение было легче значительно, чем у них. Что мне нужно? Мне нужны стол, бумага и карандаш. А им же нужна площадка, аудитория, играть — они для этого созданы. В бессонные ночи думаешь: много горя я людям доставил...

— Вы сейчас написали книгу воспоминаний...

— Мемуарный роман, начинается он в 34-м году, кончается в 94-м. 60 лет. Эпоха. Тысяча страниц. Эту тысячу страниц я несколько раз переписал...

— Ручкой?

— Ручкой, конечно. Я человек редкой бездарности в отношении техники.

— Это печальная книга?

— Когда жизнь начинается и когда она заканчивается, книга не может не быть печальной, хотя бы потому, что такой конец. Паскаль когда-то хорошо сказал: пьеса сама по себе хороша, но последний акт кровав. Два-три кусочка земли на голову — и конец навсегда.

— Леня, вы вообще печальный человек, я часто вижу вас в печали... Ну известно: во многих знаниях многая печали. А в то же время у вас такой комический дар...

— Это старое дело: юмористы — они меланхолические, это, знаете, сопряжено.

— Почему на самом деле? Что за природа?

— Тут есть какая-то сложность. Исход трагедии — это надежда, а основа иронии — безнадежность. Видимо, в этом заключается парадокс. — Вы сказали о Зиновьеве, а я вспомнила о другом человеке, который был близким вашим другом, — я говорю о Белинкове. Вообще люди такого класса, с которыми вы дружили, они ушли и уехали или уехали и ушли, вам это прибавило одиночества...

— Раньше я беседовал с живыми людьми, теперь беседую с теньями. Это, конечно, драматический период жизни. Но нужно к этому относиться трезво. Можно вам процитировать одни стихи? Есть китайские стихи: “Но воздух прохладней и небо темней, время настало проститься. И по тропинке, по склону горы меня провожает учитель. Мне уже 70 минуло лет, учителю за 90. Знаем мы оба: на этой земле встретиться вновь не придется”. Надо, очевидно, спокойно и трезво признать, что эти расставания неизбежны. — Иногда даже необязательно

разговаривать с человеком, вот как мы с вами, чтобы испытать радость общения. С какой-то поры для меня это новое ощущение. Как берешь книгу с полки и что-то получаешь... Для меня это стало привычкой, практикой. Но, вы меня извините, в конце концов, когда вы уйдете, я все равно буду знать, что вы есть и не только были в тех записках, в тех книгах, в том, о чем мы с вами говорили... Это, видимо, то, что называется духовным общением, оно очень содержательно и позволяет пережить то, о чем эти замечательные китайские стихи...

— Да, конечно, есть какая-то связь, которая нематериальна и неподвластна времени. Хотя я должен сказать, что слово “духовность” вызывает у меня некоторое содрогание. Оно стало очень ходовым, а вы знаете, что слово подвержено такой инфляции, которой даже рубль не подвержен. Слова дешевеют на наших глазах. Но если мы вернем им первоначальный смысл, тогда, конечно...

— Вы написали такую громадную книгу, и уже вполне мы можем применить мозмовское “подводя итоги”...

— Замечательная книга. Хотя Сомерсет Моэм написал ее в середине жизни, а не в конце... — Что самое-самое вы извлекли из жизни?

— Трудно говорить... Трудно говорить о жизни всех других людей, мы возвращаемся к тому, с чего начали: они непредсказуемы, они непонятны, они индивидуальны — равенства же нет, как вы знаете. Трагическая ошибка России была в том, что она в свое время предпочла равенство свободе.

— Она предпочла в результате уравниловку...

— Так получилось, да. Она выбрала из этих лозунгов — свобода, равенство, братство — равенство. С этим нашим артельным сознанием мы гребнули в эту сторону... Поэтому говорить обо всех я не буду. Ну а о себе — что ж, я могу сказать: выиграть жизнь в принципе невозможно — ее можно только проиграть, но все-таки очень важно заниматься любимым делом. Если это было, то остальное как-то состоится. Я не могу сказать, удалась мне жизнь или не удалась, это было бы слишком претенциозно. Но образ жизни, наверное, удался. Это тоже кое-что.

— Это много.

— Во всяком случае, мне очень повезло в моей жизни... Я видел Лобанова. Лобанов был не только режиссер, Лобанов был великая человеческая личность. Я видел, как он мог остро почувствовать прелесть безвестности.

— После славы?

— Да он и не имел ее по-настоящему. Он имел признание интеллигентской Москвы, а славы не искал, это был человек не для президиума. Я представляю, что от слова “тусовка” он тут же умер бы. Понимаете, суровый климат одиночества бы по мерке этой личности, он подходит не к каждому, не каждому дано его выдержать, а он мог, он был большой человек, очень большой.

— То есть на вашем жизненном пути были примеры, если можно так по-детски сказать... И вы не стесняетесь...

— Наоборот, я счастлив!

— Сейчас сказав, что нам не нужна идеология, выбросили с водой ребенка... выбросили идею, выбросили примеры, авторитеты...

— Это понятно. Потому что идеология сужает идею, идеология вгоняет ее в прокрустово ложе. Идея идеологии сама по себе может быть высока и прекрасна, а становясь идеологией, она перестает быть идеей и становится средством.

— Наверное, вами во многом двигало чувство благодарности?

— Да, я благодарен этим людям, они очень украсили мне жизнь, они задали какой-то тон, задали определенную планку, которую я, конечно, не мог достигнуть, хотя я много работал. Я скажу так: в количественном смысле я сделал не мало, но смог я не много. Но за это уж они не несут ответственности.

— Ну а я на своем маленьком месте переадресую это вам: я благодарна за то, что вы есть в моей жизни.

— Спасибо.

— Спасибо вам.

Ольга КУЧКИНА.